



Владимир Михайлов

**Не возвращайтесь  
по своим следам**

«Автор»

1984, 1989

**Михайлов В. Д.**

Не возвращайтесь по своим следам / В. Д. Михайлов — «Автор»,  
1984, 1989

«Не возвращайтесь по своим следам» – повесть-предостережение,  
пристальный взгляд на прошедшую жизнь. Повесть отличает неординарность  
ситуаций, динамичность фантастических сюжетов.

© Михайлов В. Д., 1984, 1989

© Автор, 1984, 1989

# Содержание

	5
Конец ознакомительного фрагмента.	28

## Владимир Михайлов

# Не возвращайтесь по своим следам

Чем дальше, тем больше люди трезвели, и на столе прибавлялось полных бутылок. Потом разом поднялись и пошли одеваться.

Встречать Зернова собралось человек двадцать – двадцать пять. Могильщики проворно орудовали лопатами, подхватывая вылетающую снизу землю и кидая в кучу. Затем, без труда подведя длинные полотнища, подняли гроб; ящик с косыми стенками стоял на образовавшейся у могилы рыхлой насыпи – белый, как подвенечное платье. Вдова подошла вплотную, утирая глаза. Открыли крышку; Зернов лежал бледный с голубизной, как снятое молоко, худой, спокойный, старый. Было ему, впрочем, неполных пятьдесят всего, но измучила болезнь. Три человека выступили и сказали, что полагалось, в том числе Сергеев и директор – его стали уже называть новым. «Дорогой друг, – сказал директор, – мы рады, что ты возвращаешься в наши ряды, мы высоко ценим вклад, который тебе предстоит сделать в нашу сложную и противоречивую издательскую деятельность, недаром ты долгие годы проработал заведующим ведущей редакцией, и потом еще несколько лет редактором, и даже еще позже, студентом уже, будешь проявлять свои недюжинные способности, организаторский талант и высокую принципиальность, и всю твою предстоящую жизнь люди будут любить тебя». И так далее. Потом гроб закрыли, но заколачивать уже не стали; шестеро встречавших, кто поздравовее, натужась, подняли гроб на плечи и понесли по неширокой, с первыми опавшими листьями аллейке к воротам. Вторая смена, еще шестеро, шла сразу за родными и близкими.

За воротами кладбища ждал специальный, с широкой черной полосой по борту автобус из бюро услуг и еще «Латвия», издательский, а также директорская «Волга» и «Лада» Сергеева. Жидкая процессия медленно вышла из ворот, гроб закатили по металлическим, блестящим от употребления штангам в автобус, – водитель помогал изнутри, – расселись сами; вдову – она еще была вдовой, а женой Сергеева уже почти год как перестала быть – Сергеев посадил в машину рядом с собой, и поехали.

Дома была возня, пока гроб по неудобной, как во всех подобных строениях, которым предстояло возвышаться еще лет тридцать, лестнице внесли на четвертый этаж. Из квартир, мимо которых проносили гроб, тут и там выглядывали соседи, кто-то сказал другому: «Да это Зернов вернулся, из шестнадцатой квартиры, который болеть будет». «А, знаю, знаю», – ответил другой. В квартире гроб поставили на стол, с которого успели уже убрать бутылки и закуски. Снова сняли крышку, прислонили к стене. Людей прибавилось; входили, некоторые даже в пальто, стояли минутку подле открытого гроба, кланялись или просто кивали и, помедлив еще немного, уходили. К вечеру немногие оставшиеся вынули Зернова из гроба, и гроб сразу же увезли; Зернов лежал теперь на кровати, с него сняли смертное, одели в пижаму, закрыли с головой простынею. Помогала Люда, невестка, жена Константина, он был сыном Зернова от другой жены, к которой Зернову предстояло вернуться теперь только через двадцать с лишним лет. Люда была беременна, ходила с заплаканными глазами, Константин тоже очень грустен был, они двое с остальными почти не разговаривали, а если шевелили губами, то бормотали что-то неразборчивое, и им отвечали так же. Закончив, ушли – Люда двигалась осторожно, переваливаясь, оберегая живот, Константин ее поддерживал, обнимая рукой за спину. Слышно было, как за ними защелкнулся замок и почти сразу внизу захлопали дверцы такси.

Остался только Сергеев. Наталья Васильевна, вдова, вышла в другую комнату и вскоре вернулась, уже не в трауре, а в домашнем халатике. Они перешли в другую комнату, где стояли стол, – низкий, не обеденный – широкий диван и стенка. Сели рядом на диван, и Сергеев сразу же стал гладить Наталью Васильевну по голове. Она прислонилась к нему, закрыла глаза и пробормотала: «Не знаю, как будет теперь, ничего не знаю больше, он вернулся – а мы?...» Так они просидели всю ночь, то молча, то перебрасываясь несколькими незначительными словами, не о себе. Когда за окнами засветлело, приехал врач, усталый, как все люди по утрам, немного раздраженный, но старавшийся сдерживаться. Он Зернова теперь будет навещать часто; врач знал это, потому что бывал тут не раз – но это прежде, прежде, сейчас-то он был тут впервые, и, однако, его не удивило, что и он знал всех здесь, и его все знали, как знали и то, что вскоре Зернов опять начнет жить, и ему станет немного лучше; тогда врач направит его в больницу, а через некоторое время снова навестит дома – после того как Зернов из больницы вернется. Наталья Васильевна еще с вечера положила на стол нужное свидетельство. Врач сейчас взял свидетельство, поводил по строчкам ручкой, странным, но уже привычным образом как бы втягивавшей написанное в себя, и спрятал чистый, разгладившийся бланк в сумку. После этого он подошел к по-прежнему лежавшему в другой комнате на кровати Зернову, осторожно откинул простыню, поискал и не нашел пульса, через фонендоскоп послушал грудь, шею, приподнял лежавшему веки и поглядел в зрачки. Потом вернулся туда, где были вдова и Сергеев, хмуро сказал им: «Ну что же... поздравляю», – взял сумку и уехал.

Теперь Наталья Васильевна села подле кровати, на которой лежало тело, а Сергеев остался там, на диване. Усталая вдова склонилась, оперлась локтями о колени, спрятала лицо в ладонях. Сидеть так было неудобно и больно ногам, но она не меняла позы, хотя теперь, когда все шло, как полагается, на лад, охотно села бы свободнее или даже вышла из комнаты, но не в ее силах это было. Задремала ли она? Кажется, нет, был ведь день; правда, всю предыдущую ночь она не спала; но, может быть, и не задремала сейчас, а просто углубилась мыслями во что-то неопределимое и неназываемое, когда мысли находят выражение не в словах, а в обрывках картин. Однажды она – похоже, что бессознательно – пробормотала: «Бедный маленький мальчик, бедный...» – но это не о Зернове было сказано. Так или иначе, первый вздох мужа она упустила. Как и тогда – последний; все повторялось в точности, но к этому уже давно пора привыкнуть, да и было это действительно привычно.

Когда Наталья Васильевна открыла глаза, Зернов уже дышал: плавно втягивал в себя воздух, потом словно не решался выдохнуть, стремясь подольше удержать воздух в себе, как бы страшась, что следующего вдоха не будет – и наконец выдыхал: неровно, хрипло, рывками, в несколько приемов, словно бы выдыхать было больно.

Шли долгие минуты; дыхание неумовимо выравнивалось, хотя до нормального было по-прежнему далеко. Потом Зернов начал бормотать, громко и невнятно. «Овей етиребу, етиребу» – и еще что-то совсем уже невразумительное. Наталья Васильевна судорожно выпрямилась, ощутив на своем плече руку. Это Сергеев дотронулся до нее – перед тем как бесшумно отойти, выйти в прихожую, спуститься, уехать. Наталья Васильевна беспомощно сказала: «Неужели никак нельзя, чтобы ты сейчас не уезжал?...» – хотя губы ее выговаривали совсем не то. «Ты же знаешь, что нет», – ответил Сергеев, губы его тоже двигались не в лад словам, как это бывает в сдублированном фильме, когда плохо уложен текст перевода. «Он долго будет так?» – спросила она. «Пока не придет в сознание, – ответил Сергеев. – Ты разве не помнишь, сколько он был без сознания перед смертью?». – «Последние сутки... да, почти сутки». «Ну вот, – сказал Сергеев, – значит, и будет сутки. Ничего. Ты не волнуйся. Делай все что делается, и помни: ничего изменить нельзя, оно сильнее нас». Наталья Васильевна помолчала. «Как я ее ненавижу», – сказала она потом. «Аду?» – удивился Сергеев, хотя лицо его никакого удивления не выразило. «Ну что ты... Ее, эту... Да Людмилу же, неужели ты не понял? Бедный мальчик, малыш, еще и двух недель не прошло, как...» Сергеев помолчал. «Что же, вот оно и

нас коснулось, – сказал он затем, – больно коснулось, мы успели привыкнуть, что нас как-то не задевает, хотя ведь с самого начала знали, как все будет... Ничего нельзя сделать, родная моя, ничего нельзя, ты сама прекрасно знаешь, выход один – примириться с самого начала, мы раньше – тогда еще – не очень хорошо понимали, откуда – судьба, зато сейчас знаем». Он еще что-то говорил, но Наталье Васильевне больше не нужно было, она вдруг и сама поняла, что судьбу не изменишь и надо примириться, заставляя себя мириться – до тех пор, пока не вернется привычка, а тогда станет куда легче. Со всем надо мириться. Очень важно, – подумала она, – приучить себя, привыкнуть со всем примириться, ведь на самом деле и правда все очень хорошо и разумно, только больно сейчас, очень больно...

\* \* \*

Наталья Васильевна медленно вошла из кухни с поильничком в руках, склонилась над Зерновым, поднесла поильник к его губам, помогла ему приподнять голову. Он облизал губы, она осторожно опустила его затылок на подушку, внимательно, чтобы не расплескать, поставила поильник на тумбочку, легко прикоснулась к его лбу, кивнула. Тогда он хрипло и слабо выговорил:

– Ната... Попить дай, Ната...

Она присела на краешек кровати.

– Митя... Митюша...

Но он уже забылся и лежал неподвижно, только грудь под одеялом тяжело поднималась и опускалась. Прошло полчаса, он снова открыл глаза.

– На-та... – раздельно, с усилием проговорил он. – Ты извини. Совсем, кажется, табак дело. Совсем... – Он пошевелил пальцами лежавшей поверх одеяла руки, Наталья Васильевна взяла его пальцы, едва ощутимо пожала их.

– Чувствую, – сказал он все так же с трудом, не в лад шевеля губами, – что мне не вылезти... – Через каждые два-три слова он делал паузы, отдыхая.

– Да что ты, Митя...

Она жалела его, от всего сердца и души жалела, как бы там ни бывало раньше и как ни будет еще потом, но сейчас ему плохо было, и она невольно старалась принять на себя хоть часть его боли и неизбежного страха перед непонятным, что, как он думал, ему предстояло. Она-то знала, что ничего такого уже не будет, он же пока еще был в неведении.

– Странно, что я еще... Мне казалось, я уже... был не... не здесь... где-то... свет, круглый свет... мама... и другие, кого...

– Нет, Митенька, нет! – Она нагнулась над ним, взяла его лицо в ладони. – Ну, посмотри на меня... Постарайся понять. Ты пришел в себя. Это прекрасно. Теперь с тобою ничего плохого не случится. А с мамой и со всеми ты еще увидишься, увидишься! Ты думай об этом, и тебе сразу станет хорошо...

– Думаешь... я... не умру?

– Знаю! – ликующе сказала она. – Не умрешь! Не бойся этого больше. Самое тяжелое позади. Еще, конечно, временами тебе будет нехорошо. Но и это пройдет, и в конце концов ты станешь совершенно здоровым. Как раньше. Помнишь, каким крепким был ты раньше?

Губы Зернова дрогнули – может быть, он пытался улыбнуться, но может, и просто от боли; он закрыл глаза. Дыхание было уже куда ровнее, чем сутки назад.

– Все путается в голове, – пожаловался он. – Уже не понимаю, что было, чего не было... Какое... сегодня... число?

– Двадцать третье. Двадцать третье сентября.

– Ага. Жалко...

– Чего, Митенька?

– Хочется... чтобы лето. Тепло... Зелень... Воздух...

– Ну и прекрасно, что хочется. Лето вот-вот начнется. Да и осень теплая в этом году.

Он некоторое время лежал молча, видимо соображая. Потом открыл глаза. Во взгляде теперь был смысл, и Наталья Васильевна в который уже раз удивилась тому, что взгляд – не только Зернова, но и вообще любого человека – и теперь выражал сиюминутное, а вовсе не то, что должно было бы выражаться.

– Странно... – проговорил он.

– Да, Митя, конечно, – согласилась она. – Я понимаю. Сначала всем нам многое кажется странным. Но мы привыкаем. К этому не так уж трудно привыкнуть.

– К чему?

Она несколько секунд бормотала что-то непонятное, как бы звуки наизнанку: невольно задумалась о том, к чему приходилось привыкать, хотя и не хотелось, может быть. Потом спохватилась.

– Ну, я не смогу объяснить как следует. К жизни, вот к чему. Станет тебе лучше, встретишься с Колей... с Сергеевым, он объяснит так, что ты поймешь.

– Да... – пробормотал он, – Сергеев сможет, да, он любит объяснять все на свете... Ната! Позвони ему... пусть придет сегодня.

– Он не придет.

– Очень прошу...

– Он не сможет, Митенька. Поверь. И позвонить ему сейчас я тоже не могу. Ты уж лучше не спрашивай зря. И не спорь.

Наталья Васильевна встала, взяла лежавший на столике шприц, сделала укол, потом подняла шприц перед собой, иглой вверх, втянула возникшую в воздухе струйку в стеклянный, с делениями, цилиндр, дальше опустила иглу в крохотную бутылочку ампулы, и когда ампула наполнилась и с едва слышным треском заросла – уложила ее в коробочку, а шприц тут же разобрала, подув на пальцы (был он горячим), уложила в стерилизатор, закрыла крышкой, собираясь выйти на кухню и поставить на плиту.

– Как заболело сразу... Долго будет?

– Поболит немного. Но все слабее и слабее.

– Ты меня уже лечила так?

– Конечно.

– А я почему-то помню наоборот: ты колола меня, когда болело, когда больше не было сил терпеть.

– Спи, – строго сказала Наталья Васильевна, хотя черты ее лица сейчас выражали не строгость, а жалость. – И терпи. Все остальное – потом. – И она поспешно вышла на кухню.

\* \* \*

В другом месте города, в своей квартире, состоявшей из одной большой комнаты и кухни, Люда, невестка, аккуратно укладывала в большую картонную коробку разные трогательные вещички – то первое, что надевают на человека, когда он приходит в мир; так когда-то было, теперь же это было последним, что на человечке было, и когда последнюю пеленку с него снимали, то вскоре и самого человечка не найти было. Пеленки, подгузнички, ползунки, пинетки... Люда губами улыбалась, глазами же плакала, и у Константина, мужа ее, такой же разлад был на лице; он сейчас был дома, день был воскресным.

– Ну не надо, не надо, – тихо говорил он. – Не вернешь и ничего не поделаешь, у всех так; общая судьба; не знаю уж, кому это понадобилось, но против жизни не пойдешь.

– Мы против жизни идем, – сказала Люда, улыбаясь и плача по-прежнему.

– Ну пожалуйста, не надо...



Люда замолчала и продолжала укладывать вещички, аккуратно их разглаживая ладонями. Потом накрыла коробку крышкой, перевязала широкой голубой лентой. Встала.

– Пора ехать, навестить твоего отца.

– Знаю, – ответил он с неудовольствием, уже надевая пиджак. – Рад бы не ехать. Не хочу. Но от нас не зависит.

– Ты ведь раньше – тогда – иначе к нему относился...

– Верно, – согласился он, подавая жене пальто. – Раньше я мало знал... и все мы ничего не знали. Хоть бы сейчас ничего не помнить!

– А я вот почти не помню, – сказала она, застегиваясь. – Приданое возьми. – Она выглядела теперь намного стройнее, чем была тогда, когда встречали Зернова на кладбище. – Очень, очень смутно...

– Повезло тебе, – сказал он в который уже раз: об этом они между собой разговаривали не впервые. – Тоже непонятно: отчего одни помнят хорошо, другие – смутно, третьи вообще ничего?

– Самые счастливые, – сказала она. Константин взял коробку с детским приданым, пробормотал: – Петя, Петюшка...

– Ну, идем, – сказала она, и они двинулись – навестить больного и вернуть то, что в свое время было подарком Натальи Васильевны к предстоявшему – тогда предстоявшему – счастливому семейному событию.

\* \* \*

Зернов пролежал дома неделю с небольшим, постепенно приходя в себя, хотя был еще очень и очень слаб. Потом Наталья Васильевна увезла его в больницу, и там он пролежал еще почти месяц: его выхаживали, потом прооперировали. Операция была несложной, потому что раньше у Зернова ничего удалять не стали: оказалось, что бесполезно. И теперь его положили на стол, хирург автоматически, бездумно действуя пальцами, иглой удалил свежие швы, вскрыл полость, все переглянулись, безнадежно покачали головами, потом хирург стал показывать, и все смотрели на то в полости, что он показывал. Стали снимать зажимы, хирург решительно повел скальпелем, за которым плоть срасталась – не оставалось никакого следа от разреза. Из больницы Зернов вышел значительно более бодрым, чем вошел туда. Вернулся домой, обходясь уже почти совсем без посторонней помощи. Вскоре приехал врач, Зернов отдал ему полученное в больнице направление, врач, как и раньше, снял ручкой все вписанное в бланк, приложил резиновый кружок, чтобы исчез отпечаток печати, и двумя пальцами уложил чистую бумагу в свою сумку. Они еще немного поговорили о здоровье, потом врач осмотрел и выслушал его и сказал, что теперь Зернов быстро выздоровеет. Зернов откровенно сказал врачу, что ни черта не понимает: медицина стала какой-то новой за время его болезни. Врач почему-то оглянулся и, пригнувшись, вполголоса сказал, что и сам ничего не понимает во всем этом.

А потом, спеша, чтобы Зернов не собрался с мыслями и не стал задавать вопросов, заговорили о другом.

– Ну, прекрасно, – сказал врач, – лежите, поправляйтесь. Я теперь, как вы и сами знаете, к вам приходите больше не стану, через месяц увидимся с вами у меня в поликлинике – вы тогда поймете наконец, что болеть у вас будет далеко не случайно, вы ведь из живущих по принципу «гром не грянет – мужик не перекрестится». Тогда мы и обнаружим у вас эту пакость, это самое новообразование. А уж дальше пойдут семечки: болеть будет все реже, и скоро вы вообще обо всем этом забудете.

– Вы так точно знаете все наперед?

– Это-то не фокус, – усмехнулся врач одними глазами. – Все знают все наперед, не я один. Это элементарно. Вот прошлого мы, к сожалению, в большинстве своем не помним. Не

знаем, что было вчера. А завтра – оно открыто, никаких секретов в себе не таит... – И он взял сумку и направился мыть руки в ванную, где его уже ждала Наталья Васильевна с чистым полотенцем в руках.

– Погодите, доктор...

– Послушайте, – сказал врач строго, не поворачивая головы, – вы думаете, вы у меня один на повестке дня? Нимало-с. И я спешу. На наше счастье, у нас было время поговорить, но... Ничего, разберетесь как-нибудь сами. И поймете: это, в общем, прекрасно – когда будущее открыто взорам. И не только это. Для нас, медиков, это просто праздник души: больные-то все как один выздоравливают – раньше или позже, но непременно выздоравливают, разве не счастье? Да и во всем прочем: ничего не надо гадать, ни в чем – сомневаться, ибо все известно, все определено. События расчислены по годам и минутам на всю жизнь вперед. А вы не ломайте головы и делайте так, как оно делается. Не пытайтесь перехитрить жизнь. Думайте лучше о делах практических. Потому что вскорости вам на службу: через три дня, если хотите точно. Как только возникнет у вас возможность, выходите на улицу. Хотя что я говорю – выйдете, разумеется. Погода такая, что дома торчать просто грех. Двадцатое июня, самый свет.

\* \* \*

Зернов лежал еще немного. Но после того как доктор уверенно обнадежил, больше не лежалось. И в самом деле, пустяки какие-то, наверное, а все уже вообразили черт знает что, и сам он, главное, поверил – и раскис... Зернов поднялся, пошатнувшись, – слаб он все-таки стал, ничего не скажешь, – натянул брошенный в ногах кровати халат, подошел к растворенному окну, из которого тянуло свежестью пополам с бензиновым перегаром: окна у Зерновых выходили на улицу. Надежно оперся о подоконник и стал смотреть. Была у него такая привычка. За окном стояла летняя теплынь, люди шли в пестром, легком, приятно было смотреть, в особенности на женщин, хотя с четвертого этажа много ли разглядишь. Подумав о женщинах, он сразу же вспомнил про Аду, воспоминание было странным: то ли подлинно воспоминание, то ли, напротив, предчувствие, а если предчувствие, то опять-таки непонятное: горькое и сладкое одновременно. Почему?.. Солнце ярко отражалось в окнах по ту сторону улицы, все как будто было нормально. И все же – ощущал он – какие-то странности возникли в жизни. Что-то непонятное. Хотя все вроде было – как всегда... Так уж и все? Вдруг Зернов понял, что его так смутило подсознательно: движение на проезжей части улицы шло по левой стороне. Как в Англии – и в Швеции тоже, или как там, в Швеции?.. Ну а у нас-то зачем? Сначала, поняв это, он испугался: то-то сейчас наломают дров! Но ничего не происходило, все ехали нормально, надежно – по левой стороне. Да, действительно, кому и зачем вдруг понадобилось – все менять? Или, может, заключили такое всемирное соглашение – к чему? Глупости какие-то... Вот что хуже всего, когда расхвораешься всерьез: лишаешься информации, газет не дают, и радио тоже он как-то не слушал в это время, не до того было... Ну а еще какие перемены? Зернов начал приглядываться ко всему, что было внизу, повнимательнее и заметил еще: игрушечный грузовичок, самый примитивный, ехал по тротуару задом наперед и на веревочке тащил за собой мальчика лет, может быть, трех, и мальчуган этот бежал за грузовичком, но бежал не лицом вперед, что было бы нормально: игрушка, конечно, заводная, и мальчик бежит за нею, чтобы не удрала, – но мальчик бежал пятясь, глядя назад – и бежал смело, и никто его не останавливал, чтобы предотвратить беду – конечно, Зернов и раньше знал, что люди, большинство, какими-то равнодушными ко всему стали, но чтобы до такой уж степени, чтобы даже ребенка не побережь... Зернов хотел было высунуться из окна побольше, чтобы окликнуть мальчика, предупредить – но ни тело, ни губы почему-то не повиновались. «Ната!» – хотел он крикнуть, но губы снова не подчинились. Тогда Зернов отошел от окна, сел около телефона и хотел уже

набрать номер Сергеева, бывший свой – но не набрал, а задумался вдруг еще над одной странностью, обнаружив ее на сей раз в себе самом.

Дело заключалось в том, что, задумав набрать номер, чтобы поговорить с Сергеевым, Зернов механически подготовил и первый вопрос: ну, что вы там без меня за три дня наворотили? Потому что вдруг как-то само собой вспомнилось, что он действительно только три дня как прервал из-за болезни работу, совершенно точно – три дня. Но одновременно было ему ясно и другое: что не три дня, а куда дольше лежит он, и в больнице был, и совсем плохо ему приходилось, без малого умирал – нет, тут не три дня, тут счет получался совсем другим. И это Зернов знал тоже не менее твердо, чем то, что три дня назад он был еще на работе, хотя чувствовал себя уже нехорошо. Подобная двойственность ощущений без явной возможности отдать предпочтение одному из них говорила о душевном, точнее – психическом заболевании, и Зернов испугался не на шутку. Тут трудно было сказать, что хуже: корчиться от проклятого новообразования, как порой деликатно называют рак, или загреметь в дурдом; второе даже хуже было, потому что, в отличие от рака, каким-то непостижимым образом пятнало репутацию человека, а у Зернова репутация была надежной, он ею гордился, и здравый смысл никогда еще его не подводил. Вот что заставило его, – думал он, – помешкать со звонком; на деле же просто время еще не пришло.

Но вот его правая рука сама собой, без всякого участия его воли, протянулась, сняла трубку и поднесла к уху. В трубке зачастили короткие гудочки, потом шелкнуло, и Зернов сказал:

– Привет!

– Ну, как ты? – спросил Сергеев на том конце провода.

– Знаешь, ничего. Наверное, ложная тревога. Но я не об этом хотел. Ты сильно занят?

– Умеренно, – сказал Сергеев. – Готовлюсь передать тебе дела. В таком же точно порядке, в каком они были, когда ты уходил.

– Ага... – неопределенно проговорил Зернов.

– Через три дня, как только выйдешь. – Что-то такое почудилось Зернову в голосе Сергеева: усмешка, что ли? – Что, еще одно непостижимое явление? Сидишь и никак не можешь разобраться?

– Похоже на то. Слушай, отложи-ка лучше дела и приезжай вот прямо сейчас ко мне. Ты, видимо, понимаешь, что происходит...

– Естественно, – откликнулся Сергеев. – Я побольше твоего живу на свете.

– Такого за тобой до сих пор не замечалось, – сказал Зернов, помнивший, что Сергеев был на восемь лет моложе.

– Просто у тебя календарь старый.

– Не знаю уж, какой календарь, но хочу, чтобы ты сейчас приехал и ввел меня в курс. Видимо, какие-то серьезные вещи тут происходили, пока я болел? Всякое лезет в голову, я этак даже спятить могу.

– Не бойся. Этого не случится.

– Вот свихнусь незамедлительно.

– Не получится. А приехать я сейчас не в состоянии.

– Ты скажи в дирекции, или главному редактору, или просто в редакции скажи, что я прошу...

– Да не в начальстве дело. Физически невозможно.

– Что-то стряслось? Так я и чувствовал...

– Нет, у нас тишь да гладь. Как и везде нынче: на Шипке все спокойно... – это было сказано с какой-то неожиданной горечью. – Но приехать не могу. Мы с тобой увидимся только через три дня, и не секундой раньше.

– Почему так?

– Потому что иначе природа не позволяет. Понимаю: тебе нехорошо при мысли, что эти три дня ты проживешь в неведении. Не тужи: мы все прошли через такое. К тому же за эти три дня ты до многого и сам дойдешь, догадаешься. А я потом только помогу тебе привести все в систему. Ты последи внимательно хотя бы за самим собой, очень полезно бывает...

– Ну, если ты так, – сказал Зернов, – то я сейчас сам приеду. Ты никуда не собираешься?

– Никуда, – ответил Сергеев весело. – Ну, приезжай. Если удастся, конечно.

– Подумаешь, путешествие к центру Земли! – фыркнул в ответ Зернов и хотел добавить еще что-то, но в трубке уже щелкнуло; зазвучали долгие гудки. И тут же, не кладя трубки, набрал номер, сам не понимая, зачем делает это, и лишь после этого положил трубку. Распустился все-таки Сергеев, – отметил он, – побыл немного начальником, вот уже и трубку бросает, не закончив разговора. Но начальник-то еще я – или уже я?.. – Он опять запутался в соображениях и решил просто махнуть на все несообразности рукой, а лучше на самом деле вот взять и поехать сейчас в издательство, к Сергееву, слегка пропесочить его, пока обида не прошла, да и вообще – повидать всех.

Пиджак висел на спинке стула. Зернов залез двумя пальцами в нагрудный карман. Пропуск был на месте. Он на всякий случай раскрыл пропуск. Действителен до конца года, все в порядке. Сейчас еще только... – он глянул на календарь, – июнь, да, врач же говорил. Разгар лета. А очнулся я когда? В сентябре? Абракадабра, сапоги всмятку. Впрочем, насчет сентября, вернее всего, был бред. Хорошо все же чувствовать себя выздоравливающим!.. Он держал в руках пиджак, смотрел на брюки, тоже висевшие на стуле, как будто это не брюки были, а нечто загадочное, требующее долгого постижения. Надо ехать к Сергееву. Что для этого нужно? Так, ясно. Сперва – в ванную: умыться, побриться. Он сделал несколько шагов по комнате. Все еще очень трудно было ему передвигаться, каждый шаг давался с немалым усилием, как если бы он проталкивался через воду. Сильно же, однако, я сдал, – огорчился Зернов, – ослабел совершенно, просто ноги заплетаются, может, все-таки не ехать? – Он на миг задумался над этим, и ощутил вдруг, что идти стало легко, привычно. Что случилось? Господи, – удивился он, осознав, – да я же задом наперед иду, словно что-то меня пятит – и совсем без усилий... Нет, надо поехать, надо обязательно... Он аккуратно повесил пиджак не на стул, а на место, в шкаф. Надо ехать. Надо... Он думал об этом упорно до самого вечера, а делал тем временем что-то совершенно другое: пробовал читать, принимал лекарства, время от времени, для самого себя неожиданно, снимал телефонную трубку – и каждый раз в ней раздавался голос: то диссертанта, которому нужна была публикация, то мужика, которого Зернов хотел было заполучить в свою редакцию, для чего нужно было мягко, но неизбежно вытолкнуть с места одного из редакторов, который часто проявлял непонятливость – чаще, чем можно было стерпеть, – а этот мужик был очень деловым и соображающим. Зернов знал, что проделать эту операцию он не успеет, и не понимал, откуда это знание взялось: почему же не успеет? Вот через три дня и начнет... Еще и другие звонили – и начинали почему-то с поздравлений, и Зернов сначала думал, что его разыгрывают, потому что ему снова стало представляться, что он уже три дня как болеет, и впереди очень тяжелые и страшные дни, – и с трудом удерживался от того, чтобы не вспылить, не обругать, не накричать по телефону; но потом понял, что это просто одна из множества внезапно возникших странностей жизни, странностей, пока ему непонятных, и следует просто слушать и благодарить, ничего не возражать и ничего, само собой, не обещать; впрочем, обещать он и раньше не очень-то любил. Так что он в общем и целом очень бодро поговорил и с мужиком, и с диссертантом, и с секретаршей директора, и со всеми, кто ни звонил. «Да, я слушаю... И я рад вас слышать. Пожалуй, нормально. Ну, знаете, мы такой народ, нас только если через мясорубку, остального не страшимся, не то что молодежь... Да, спасибо, очень признателен...» После каждого такого разговора, стоило положить трубку, сразу же раздавался звонок, но Зернов трубки больше не брал, отчего-то чувствуя, что – не надо, и телефон, раз-другой прозвонив, умолкал. Надо аппарат сменить, – решил Зернов, – новый поставить,

такой, который приятно жужжит, а то этот – как хлыстом по нервам... Почему же я все-таки не поехал к Сергееву?.. Потом пришла выходившая в магазин Наталья Васильевна, вошла в комнату – такая, какой была она все последние дни, когда Зернову стало уже почти совсем хорошо: напряженная, будто бы затаившая в себе что-то, старающаяся – и не умеющая с этим «чем-то» справиться. И, как во все эти дни, промелькнула при виде ее мысль: знает? Да нет, откуда же?..

– Ну, как ты себя чувствуешь?

– Со мной все в порядке, – ответил Зернов. – А вообще, теперь все почему-то уверены, что все будет в порядке, будет хорошо.

– Все? – повторила она за ним. – Ну, может быть, и не все (она говорила как бы не ему, а себе самой, задумчиво), и не все будет очень хорошо, но такие мысли, конечно, не сразу приходят. А с тобой – с тобой действительно все идет на лад – с тех самых пор, как ты вернулся...

– Я вернулся? – спросил Зернов удивленно. – Я в последний раз куда-то ездил уж и не помню когда. В прошлом году еще, наверное. – Снова возникло у него такое ощущение, словно он коснулся чего-то странного, непонятного и потому страшного. Нет, надо было все же поехать, сделать усилие, побороть слабость, и поехать, – в который уже раз мелькнуло в голове. Но вдруг очень захотелось спать. Зернов, не думая, съел что-то из того, что Наталья Васильевна принесла и поставила на тумбочке у кровати, потом неожиданно сходил в ванную, послушно пятясь – так куда легче было, – вернулся, приняв душ, хотя еще за секунду совсем и не собирався делать это, – лег и уснул.

Наталья Васильевна после этого сама сходила в ванную, вымыла волосы хной, после чего в них, только что ровно каштановых, заметна стала проседь. Наталья Васильевна внимательно разглядывала себя в зеркале. Нет, меньше стало седых волос, чем в последний раз было, меньше. И вот тут была морщинка – и нет ее больше, разгладилась... На душе у нее было тяжело, но от этих, пусть и маленьких, открытий сделалось легче, она даже повеселела немного. Что бы там ни происходило в жизни, а молодеть куда приятней, чем стариться... Вообще, во всем есть и свое плохое, но и хорошее тоже, надо только уметь его разглядеть... С Колей, конечно, все идет к развязке, и скоро уже... Но зато и здесь все кончится (весьма определенное дело было у нее для самой себя так зашифровано одним словом: «здесь»), и пойдет у нас все лучше, а потом... – она вспомнила нечто, чему предстояло свершиться с нею в далеком «потом», и даже покраснела слегка и оглянулась: не подсматривает ли кто-нибудь и не подслушивает ли мыслей; кто знает, сейчас, наверное, и это было возможно. Но никого, естественно, вблизи не оказалось, так что краснеть можно было в свое удовольствие, и радоваться тому, что еще можешь краснеть.

\* \* \*

Зернов и Сергеев сидели вдвоем на скамейке в издательском внутреннем дворике; машина, которая привезла их, только что уехала, и они могли бы сразу войти в дом и подняться наверх, в свою редакцию, где заведующий, младший редактор и девять редакторов располагались в двух комнатах, довольно большой и очень маленькой. Но отчего-то Зернов с Сергеевым не сделали этого, а сели на скамейку – оттого, может быть, что Зернов чувствовал себя не очень хорошо. Однако, несмотря на неважное самочувствие, думать он уже мог четко, и неизбежный и необходимый разговор между ними начался сам собой, когда Зернов сказал:

– Странное впечатление: словно когда-то это уже было. Совсем недавно... И вот сейчас со двора уедет фургон. Но видишь, нет никакого фургона, а я ведь точно вроде бы помню: он стоял тут, во дворе, вон, около дверей, выгружали книги – в магазин пришел контейнер. Потом фургон, помнится, стал разворачиваться, неловко так, в несколько приемов, вперед-назад, а потом уехал. – Зернов еще раз обвел дворик взглядом. – Наверное, это и есть так называемая ложная память. Кажется, что все было точно так, а начнешь анализировать – и оказывается,

ничего подобного... Знаешь, у меня эта память в последнее время что-то разыгралась, мне даже немного не по себе из-за этого...

Сергеев только усмехнулся в ответ, пошевелил губами. Подвывая на низкой передаче, фургон въехал из подворотни задним ходом и стал неуклюже, туда-сюда, разворачиваться. Наконец остановился, водитель вылез, распахнул заднюю дверцу, и девушки принялись таскать пачки книг из магазина и складывать в кузов. Зернов смотрел, забыв закрыть рот. Потом медленно проговорил:

– Не понимаю...

– Пора понять, – сказал Сергеев негромко. – Вот так мы теперь живем. Навыворот.

– Слушай, я вспомнил: это ведь действительно было! С фургоном. Было... вчера? Нет, вчера меня тут не было. Нет, сегодня! Когда же это было сегодня? Мы ведь только что приехали!

– Это было сейчас.

– Не понимаю... – озадаченно проговорил Зернов.

– Это произошло только что. На твоих глазах. Но до того было еще раз. Пять, десять или, может быть, двадцать миллиардов лет тому назад – никто не знает, когда именно.

Зернов отозвался на эти слова не сразу. Помолчал, пожал плечами:

– В такие цифры я вообще не верю. И фантастикой никогда не увлекался. И не жалею: хватило с меня и той истории... Ты можешь объяснить так, чтобы было понятно?

– Попытаюсь. Объяснение таково: мы живем в обратном ходе времени. Возвращаемся по своим следам. Это доходит?

– Наивный вопрос. Конечно, нет. Что тут может дойти? В этих словах, по-моему, ноль смысла.

– Обратный ход времени. Ну, ты же образованный человек и обладаешь каким-то представлением об устройстве мироздания. У нас в редакции полно брошюр «Знание».

– Ну и что? Они бывают нужны редакторам – мало ли...

– Ты уж лучше не перебивай пока. – «Опять хамит», – сердито отметил Зернов, но смолчал. – Соберись с мыслями. Пульсирующая модель Вселенной. Помнишь? Ну, разбегание галактик, эффект Доплера, и все прочее. Затем – в какой-то миг времени – остановка...

– Насчет остановки я не помню. Может, и не читал.

– Остановка – и начало обратного процесса: сбегание галактик к одному центру, фиолетовый Доплер вместо красного и так далее.

– Постой, постой. Ну, вспоминаю – была такая гипотеза. Но она ведь даже учеными окончательно принята не была, не доказана, чего-то там не хватало...

– Ну, законам-то бытия все равно, приняты они или нет – действуют себе, и все тут, это ведь не уголовный кодекс или, допустим, гражданский... И вот эта гипотеза, вероятнее всего, оправдалась. Из всех возможных объяснений это – самое естественное. Но кроме сбегания галактик произошло, видимо, и еще одно, самое существенное: вспять повернуло и время. И если раньше оно шло, допустим, от минуса к плюсу – или, если угодно, справа налево, то после этого двинулось обратным путем – слева направо, от плюса к минусу. То есть от будущего к прошлому. Вернее, от того, что мы тогда называли будущим – к тому, что тогда же считалось прошлым.

– Стой, так это же... Была у нас в свое время одна рукопись об этом. Что же ты мне ее пересказываешь? Я же сказал – не надо фантастики...

– А то, что ты сейчас тут сидишь, это что: фантастика или факт? Рукопись – да, была. И будет еще, никуда не денется и ничего с этим не поделает. Но я-то о реальной жизни говорю.

– Ну ладно, допустим... И когда это случилось? Поворот времени?

– Я же сказал: никто не знает. Из нас, ныне живущих, никто. Ведь после того, как мы с тобой умерли...

– Что-что?

– Да не дергайся. Понимаю, что тебе неприятно. Но больше ты не умрешь, не бойся. Однако в свое время мы с тобой померли, и после нас были еще десятки, или сотни, или миллионы поколений, и все они тоже успели умереть, а потом, возможно, – возможно, но вовсе не известно наверняка, ибо это недоказуемо! Вселенная существовала еще какое-то время, миллиарды лет, может быть, без нашего участия, без участия разумной жизни; но может быть, разум существовал и до самого конца – а потом все двинулось задним ходом, и стали снова возникать и протекать те же процессы, что происходили раньше, при прямом ходе времени – но только в обратном направлении. И снова повторялись те же поколения, но уже от последующих к предыдущим, если судить со старых позиций – от детей к отцам, от следствий – к причинам...

– Да нет, – сказал Зернов уверенно и даже махнул рукой. – Этого не может быть.

– То есть как? – опешил Сергеев.

– Очень просто. Ведь если так, значит, должны повторяться все те события, которые происходили раньше? Только в обратном порядке... Или я неверно понял?

– Ты понял правильно. Зернов усмехнулся:

– Кто же это разрешит?

– Что ты сказал?

– Сказал ясно: кто это разрешит! Кто допустит!

– А, вот что, – Сергеев серьезно и даже как бы сочувственно посмотрел на Зернова. – А никто никого не спрашивал. Вот никто и не запретил. Да и кто бы мог? Господь? Так мы его не признаем – де-юре, во всяком случае.

На этот раз Зернов молчал не меньше минуты.

– Но как же так... Вся наука, философия... Движение вспять? Прогресс ведь неумерим, необратим!

– Вижу, ты и правда сильно растерялся, если такими аргументами... Почему вообще существует мир? Да еще не всегда такой, каким мы его себе представляем – или, если точнее: всегда не такой.

– М-да, – сказал сильно озадаченный Зернов. – Конечно, так можно объяснить некоторые частности... Но все же вдруг, сразу я эту точку зрения принять не могу.

– Да ведь это дело целиком твое, мир от твоего мнения не изменится. Ну, не признавай, пожалуйста, сделай одолжение. Тем не менее только благодаря этой, как ты говоришь, точке зрения ты сейчас существуешь на свете.

– Я существую потому, что в свое время родился, надо полагать.

– Нет. Это в том течении времени ты существовал поэтому. Родился, жил, умер. Нормальная последовательность – тогда. А теперь – наоборот. Вернулся – жил – исчез. Или, если угодно, антиродился.

– Не понимаю все же.

– Что именно? Механизм антирождения? Ну, в этом я, естественно, не специалист, я по-прежнему филолог и, дожив до ранней молодости, снова окажусь на филологическом, а никак не на медицинском. Но если это тебя так интересует, позвони кому-нибудь из гинекологов, если только...

– Я лучше прямо отсюда подъеду.

– Отсюда ты, Митя, никуда не подъедешь, да и позвонить даже не сможешь – если только в том, прежнем течении времени у тебя в этот день не было никаких контактов с гинекологами.

– Зачем они были мне нужны? У Натальи здоровье такое, что позавидовать можно...

«Много ты знаешь», – очень хотелось сказать Сергееву, и еще кое-что добавить по поводу Зернова и Натальи Васильевны; но сейчас не время и не место было, и он сдержался.

– Но в конце концов, – произнес он вслух, – придется тебе, как и мне, и каждому вернувшемуся, просто поверить, что так все и происходило, и происходит. Надо бы, конечно, говорить «воскресшие», но тот термин чересчур окрашен эмоционально и мифологически. Правда, еще не так давно мы его и употребляли...

– Несколько лет назад... – Зернов ухватился за эти слова, прикинул: – То есть, глядя с моей позиции, через несколько лет?

– По старому счету – да.

– Это когда я уже... – Последнего слова Зернов не произнес.

– Да. Тогда происходило много, очень много интересного, важного, нужного, тебе рассказать сейчас – ты не поверишь, что такое могло быть. Но если на тебя выбросить всю информацию сразу – задохнешься. На сегодня хватит, пожалуй.

– А ты... долго еще жил после меня?

– То есть когда я вернулся? Двадцать лет назад.

– Выходит, пережил меня на двадцать лет. Ну, знаешь... – казалось, Зернов и тут не удержится и спросит – а кто позволил; однако же сдержался.

– Вот видишь, – сказал Сергеев, – ты уже начинаешь ориентироваться в новой системе понятий. Да, на двадцать... Но ты не обижайся: дело прошлое. Так что теперь я соответственно на двадцать лет старше тебя, богаче в смысле опыта, ко многому успел привыкнуть, хотя со многим так и не могу в глубине души согласиться, но это другой разговор... Ну, если тебя волнуют вопросы продолжительности жизни, можешь утешиться тем, что исчезну я на восемь лет раньше тебя. И ты будешь еще студентом, пользоваться всеми благами молодости, когда я уже окажусь в начальной школе. Устраивает?

Зернов пожал плечами.

– Давай о деле. В том, что ты излагаешь, я вижу все больше слабых мест... Ну например: еще по школе помню, что все виды энергии в конце концов переходят в тепло, а его ни во что обратить нельзя...

– Жизнь вообще полна всяческих алогичностей. Разве когда-нибудь было иначе? Никто не запрещает тебе думать, только вот опровергнуть лучше не пытайся: безнадежная задача. Лучше усвой то, что в главном ты уже понял: дело далеко не исчерпывается тем, что мы движемся от старости к детству, а не наоборот. Мы еще и проходим этот путь след в след, точно так же, как совершали его в тот раз, только в обратном порядке. След в след, и если сейчас мы с тобой сидим здесь и разговариваем, то лишь потому, что в тот раз, когда мы вышли из редакции, закончив процедуру передачи дел – временной, считалось, но было ясно, что ты ложишься надолго, хотя никто не знал, конечно, что ты больше не вернешься... Ну ладно, ладно... Так вот, когда мы спустились сюда, машины еще не было – директорской, она потом отвезла нас к тебе...

– Та, что сейчас привезла нас сюда?

– Именно. Ее тогда не было более получаса, и мы с тобой сидели вот на этом самом месте и болтали. Вот почему у нас и сейчас нашлась возможность посидеть и поговорить. Иначе ее не возникло бы. Так что если у тебя в той жизни, – так говорить проще всего: в той жизни, – не было в этот день, скажем, встречи с гинекологом, то и на этот раз ты его никак не встретишь.

– Ты абсолютно уверен? Стопроцентно?

– На сто в квадрате. Невозможно, и все.

– Пусть так. Тогда объясни вот что. Ты прав: в прошлый раз мы сидели тут же, я помню, но говорили-то мы не об этом! Обо всем этом мы с тобой в тот раз никак не могли разговаривать, верно? И когда три дня назад я звонил тебе из дому – согласен, это было повторением звонка в той, как ты назвал, жизни – но в тот раз мы и по телефону говорили совсем другое, я точно помню: я тебя расспрашивал о заседании тиражной комиссии. А если так – а оно именно так! – значит, не все повторяется! Согласен?



– Было бы странно, если бы до тебя никто не заметил этого несоответствия. Все замечают. И, наверное, куда больше об этом думали, и куда больше нас понимали те, кто жил до нас и успел исчезнуть прежде нас – то есть те, кто в прошлой жизни жил соответственно после нас: отдаленные потомки. Возможно, они делали какие-то выводы...

– Ты говоришь так, словно ничего об этом не знаешь.

– А откуда же мне знать? В первой жизни они пришли после нас, и мы, естественно, могли только гадать о них. А на этот раз они были раньше – и исчезли, и то, что они знали, ушло с ними.

– Но ведь должны были остаться труды...

– Труды исчезали значительно раньше их авторов.

– Ну, хотя бы из уст в уста, из поколения в поколение?

– Из поколения в поколение... – медленно повторил Сергеев и задумался ненадолго, то ли отыскивая ответ, то ли уже зная его, но колеблясь – нужно ли ответить. Наконец сказал:

– Вероятно, что-нибудь подобное существует... Можно предположить, что какие-то, скажем, информационные туннели тянутся из далекого прошлого – по нынешнему отсчету прошлого – в наши дни, в сегодня. Но ведь туннель – не полевая дорога, к нему нельзя подойти в любой точке, только в начале или в конце, а если то и другое для тебя недоступно – придется рыть шахту или вести подкоп сбоку, а это очень трудно, очень...

– Сравнение хорошее, – оценил Зернов, только ты, пожалуйста, объясни на этот раз проще, без художественности.

– Ты извини, просто я за двадцать лет этой жизни успел уже ко всем таким понятиям привыкнуть, забываю, что для тебя все вновь... Понимаешь, в этой жизни у большинства людей прошлое как бы отсекается. Прожит день – и словно его не было. Эти люди о своем нынешнем прошлом знают не больше, чем в первой жизни, когда оно было будущим... Вот ты, например: ты помнишь, что было с тобой уже в этой жизни – вчера, позавчера?

Зернов подумал.

– Ну, я все-таки болел... – осторожно ответил он на всякий случай: была у него старая привычка – при всех условиях обеспечивать себе отход в случае, если что-то скажется не так. – Поэтому у меня в голове некая неразбериха, я и сам не всегда понимаю. Ну вот, помню например, что был в больнице. Что звонил тебе. Что мы устроили что-то вроде вечеринки в редакции...

– Стоп! Это уже наложение. Вечеринка – из первой жизни, сейчас она нам еще только предстоит. Но больница действительно уже позади, больше ее в твоей жизни не будет. Ага, значит, есть у тебя какие-то воспоминания о том, что было вчера. Насколько я знаю, у большинства людей они сохраняются в первое время после возвращения. Но потом исчезают.

– Почему?

– Да скорее всего потому, что люди просто не хотят ее сохранить – память о вчерашнем дне. Она ведь очень часто мешает. А для того, чтобы удержать эту память, нужны некоторые усилия – такие, какие были нужны в прошлой жизни, чтобы представить себе какие-то черты будущего. Зато прошлая память – то, что теперь у нас в будущем, – существует без всяких наших усилий и известно более или менее точно, в соответствии с крепостью первой памяти каждого из нас...

– Подожди. Мы говорили о туннеле, как ты назвал...

– Ну, это понятно: не обладая нынешней, второй памятью, подключиться к этому туннелю никак нельзя: сегодня ты узнал от кого-то нечто о былом, а завтра уже забудешь, значит – никому из следующего поколения передать не сможешь: своему отцу, допустим, или матери, вообще – любому из тех, кто вернется после нас и будет еще жить, когда мы уже исчезнем.

– Да, верно, память нужна для этого.

– Мы ее называем второй памятью.

- Запомню... И для нее нужно усилие, а люди не хотят его?
- По большей части. Потому что с этой второй памятью жить труднее. Знаю по себе.
- У тебя она есть?
- Есть, – как-то неохотно ответил Сергеев. – Ты спрашивай, – добавил он, – не медли, время-то нам отмерено заранее, и течет, не удержишь, не продлишь...
- Да-да. Значит, выходит, мы теперь знаем свое будущее?
- Знаем наверняка. Потому что не можем совершать никаких других поступков, кроме тех, какие были совершены в той жизни. Все происшедшее накрепко впаяно в свой миг времени и никуда деваться не может. Время – железная детерминанта, иначе Вселенной вообще не существовало бы. И когда миг возвращается в обратном течении времени, он приносит с собой все без исключения, до последней мелочи все, что в нем содержалось и продолжает содержаться. Миг времени – или квант времени, как угодно, – идеально консервирует все заключающееся в нем. И нам никуда не деться от этого.
- Хорошо, хорошо. Убедительно, не спорю. И все же вернемся к началу: разговариваем-то мы иначе! Не те мысли, не те слова. А ведь это тоже – факты бытия. Следовательно, существуют исключения из правила?
- Кажущиеся исключения.
- Объясни.
- Ты сказал: мысли и слова. Но это, ты сам знаешь, совершенно не одно и то же. Слова... Слушай, а так ли уж ты уверен, что я сейчас выговариваю те слова, которые ты воспринимаешь?
- Полагаешь, у меня расстройство слуха? А у тебя?
- Ни в коей мере. Но проследи за моими губами, пока я говорю...
- Ты знаешь, – признался Зернов через секунду, – как-то трудно перевести взгляд.
- Естественно – потому что когда мы разговаривали в тот раз, ты мне в рот не смотрел – ни к чему было. Тогда остается тебе только поверить: артикуляция не совпадает. Губы, язык выговаривают одни слова, а ты слышишь другие. И я тоже. И все.
- Но в таком случае...
- Ты, я, все люди – мы слышим, надо полагать, не слова. Мысли. А внешне – для глухонемого, допустим, читающего по движениям губ, – мы ведем точно тот же разговор, что и тогда, только навыворот.
- Тогда. Миллиарды лет назад?
- Это нас не должно волновать. Для нас этих миллиардов не было и не будет. Они уже миновали.
- Пусть так. Значит, для мыслей все же делается исключение? А может, и не только для мыслей? Если у нас все должно происходить наоборот, как в киноленте, пущенной с конца, то мы должны ходить – пятясь, ездить только задним ходом, я уж не говорю о многих физиологических деталях. А на самом деле...
- Знаю, что ты хочешь сказать. Это тоже приходило в голову каждому. А объяснение просто. Строго в обратном порядке повторяются все процессы, в которых не участвует жизнь. А когда участвует – возникают какие-то отклонения, тем более значительные, чем выше по уровню эта жизнь. Но не в событийном ряду! Повторение события – закон в любом случае. А в ряду, так сказать, рационально-эмоциональном, интеллектуальном, духовном, если хочешь, и на самом деле происходят процессы, не являющиеся зеркальным отражением тех, что существовали в той жизни. Понаблюдай рыб в аквариуме – когда в твою жизнь опять вернется аквариум, мне помнится, это должно произойти довольно скоро...
- Верно, – согласился Зернов и ощутил удовольствие при мысли, что вскоре у него опять будут рыбки; в той жизни он подарил их сыну, вернее – его жене, когда она забеременела: на рыбок в аквариуме приятно смотреть, они успокаивают, улучшают настроение, а это очень важно для будущего ребенка... И тут же понял вдруг, что ребенок этот уже был, прошел и

больше его нет и никогда уже не будет, и Зернову так никогда его и не увидеть, – и стало очень тоскливо на миг.

– Так что ты – о рыбках?

– Они будут плавать в аквариуме по-разному: то головой вперед, то хвостом. Но вот мышь уже пробежит точно по той же, что и тогда, дороге, но в трех случаях из четырех – головой вперед. А человек, за исключением самых маленьких детей, идет нормально во всех случаях. Хотя, откровенно говоря, пятиться – легче. Не замечал?

– Да, – вспомнил Зернов. – Это я почувствовал.

– И машину человек ведет точно так же. Хотя куда проще – положить руки на баранку и позволить ей ехать багажником вперед. Но сознание не мирится с этим. Не желает мириться.

– Иными словами, когда в действии участвует сознание...

– Именно. Зернов помолчал, потом выговорил с недоверием:

– Выходит, по-твоему, что сознание – вне времени? Неподвластно ему? И связь его с материей, с веществом...

Сергеев откинулся на спинку скамьи, сложил руки на груди (в прошлой жизни он совершил это движение после длинной тирады, которой старался убедить Зернова по всем правилам логики в том, что болезнь у того пустяковая, бояться совершенно нечего, а надо оставаться бодрым и побыстрее выздоравливать, чему Зернов очень хотел поверить, но до конца как-то не верилось, и он подозревал к тому же, что Сергееву вовсе не хочется, чтобы Зернов быстро вернулся – и это нежелание его было Зернову абсолютно понятно и казалось естественным, но приятным от этого оно не становилось). Сергеев усмехнулся уголком рта:

– Во времени – материя. Она вцементирована во время каждой своей частицей. А сознание... Может быть, сознание – не просто или не только продукт материи? Наверное, философы и естественники об этом думали и думают, только нам с тобою не узнать... Но во всяком случае, мысли возникают у нас не как обратная запись прежних, а заново и независимо от прошлого – хотя, конечно, и опираются на опыт. Беда только в том, что мыслим мы, так сказать, вхолостую: то, что мы думаем, никак не влияет на наши действия – они предопределены. Тут запрет. Поэтому три дня назад ни я не мог приехать к тебе, ни ты ко мне: не было такой поездки в той, первой нашей жизни. И ты, и я могли в тот миг делать лишь то, что делали в это же время в первой жизни. Хотя думать при этом могли о чем угодно, и хотеть – тоже чего угодно. Ничего, когда свыкнешься с этим комплексом явлений, успокоишься, примиришься – то поймешь, что в нынешнем нашем бытии хорошего, пожалуй, не меньше, чем плохого, а больше...

– А что в нем плохого? – успел еще спросить Зернов.

Но Сергеев уже встал, и Зернов тоже поднялся почти одновременно – не потому, чтобы ему захотелось встать, но просто тело само встало; значит, время пришло. Зернов оперся на руку Сергеева, и они медленно пошли к подъезду издательства. Зернов успел еще только сказать:

– Обо всем этом надо бы книгу издать. Пособие для возвращающихся. Если, конечно, еще не издана. Сергеев невесело ухмыльнулся:

– Нет, ты еще не обвыкся. Книгу издать? Да разве мы сейчас издаем? Все наоборот, друг мой милый, все наоборот...

\* \* \*

Первый день на старой работе для Зернова прошел как-то незаметно и очень непривычно, хотя, с другой стороны, все было почти как тогда – внешне, во всяком случае. Приходили те же люди, большинство из них Зернов помнил, а остальных быстро припоминал, как только начинался разговор, и дело сразу вспоминалось, по которому посетитель явился. Но не сразу оказалось можно привыкнуть к тому, что о делах говорить в общем не было никакого

смысла, потому что Зернов уже начал понимать, а каждый из его собеседников давно понял, что результат визита предопределен, заранее известен, ничто не изменится от того, будут ли они говорить, как и в той жизни, об этом самом деле, или о чем-то не имеющем к нему никакого отношения, или просто будут сидеть и молчать отмеренный до секунды срок, предоставляя губам произносить бессмысленные звуки; впрочем, как оказалось, можно было сделать из этого своего рода развлечение, пытаясь услышать не то, что звучало, но разгадать, что было сказано тогда, в той жизни; независимо от этого любой вопрос, с которым приходили, из ясного и решенного в начале визита превращался в открытый и неясный – все равно, когда посетитель уходил с выражением надежды на лице, он уносил с собой нерешенный вопрос. Немало было, впрочем, и таких вопросов, которые оставались неясными, с какого конца к ним ни подходи, но и это было привычно еще по той жизни.

Бывали, правда, и затруднительные для Зернова ситуации в случаях, когда шел осмысленный разговор и собеседником оказывался человек, обладающий той самой памятью – Сергеев тогда окрестил ее второй памятью, – которая хранила то, что уже минуло в этой, теперешней жизни. Большинство этих людей успело уже прожить здесь намного больше, чем Зернов, и был у них, следовательно, опыт, какого у Зернова быть не могло; и вот эти посетители ставили зачастую его в тупик словами неожиданными, и не просто неожиданными, но пугающими или, самое малое, приводившими Зернова в глубокое смущение. Так, один из них, например, глядя на застекленный шкаф, в котором стояли редакционные экземпляры изданных книг, сказал вдруг (а лицо его при этом сохраняло то просительно-заискивающее выражение, какое было в первый раз, в той жизни, потому что тогда решался вопрос, очень для посетителя важный, а как решить его – было целиком в ведении Зернова, заведующего редакцией): "Да, нету здесь уже Набокова, и Солженицына нет, вон и Замятин исчез, и Войнович, многие. Некрасов Виктор Платонович, ныне уже здравствующий, вот там стоял, на второй полке, с краю, как сейчас помню, а пониже – «Жизнь и судьба». – «Какая жизнь, чья судьба?» – не понял Зернов, в то время как холодок от только что названных фамилий растекался по всему его телу. – «Гроссмана „Жизнь и судьба“, роман знаменитый...» Зернов о таком романе не слышал вроде бы, наверное, написан он был уже после его, Зернова, смерти (теперь он мысленно произносил это слово без страха, поверив наконец, что тот ужас, который оно обозначало, ему на несколько ближайших десятилетий не грозил), – но на всякий случай спросил: «Это какой же Гроссман?» – «Да Василий же, какой еще?» – ответил посетитель, и ощущалось удивление в его ответе-вопросе. Тут Зернов припомнил, что и правда, будут со временем ходить такие слухи о каком-то арестованном романе автора, уже давно и основательно раскритикованного. Да нет, его еще только будут обоснованно критиковать, – мысленно поправил Зернов сам себя; он, однако, всегда в той жизни предпочитал на слухи не обращать внимания: то, что ему полагалось знать, он получал из серьезных источников, а не из базарных разговоров. «М-да, – произнес он неопределенно, – но вот те, кого вы упомянули... эти авторы... что же, вы хотите сказать, что они тут, у нас, изданы были, раз в этом шкафу, по вашим словам, стояли?» – «Да вы что, не помните, что ли?» – недоуменно ответил вопросом на вопрос посетитель; но тут же спохватился, видимо поняв, что Зернов совсем недавно еще вернулся, и все это издавалось еще до него и исчезло до него. «Да, – подтвердил посетитель, – издавались, множество таких книг было, и теперь без них как-то тоскливо – мы же все их в руках держали, читали, говорили...» – «Как же это можно было их издать? – очень тихо спросил Зернов. – Что, было такое указание?» – «Много было, – ответил сидевший напротив, – такое, что сейчас уже не всегда и веришь памяти, но было, точно было, жаль только, что кончилось, теперь уже навсегда, в нынешнем времени больше не повторится». Разговор этот очень смутил Зернова, и после него он подумал, что, пожалуй, Сергеев прав в том, что без этой второй памяти жить легче; вот он, Зернов, не знал до сей минуты ничего подобного, и было спокойно, а сейчас возникло в душе тревожное беспокойство оттого, что оказалось возможным то, что по всякой логике было раз и навсегда

невозможно, недопустимо и неприемлемо – но что же в таком случае вообще происходило в мире? Боязно было думать об этом, но в то же время и влекло к этой странной информации, как влечет порою к пороку. Так что Зернов, пожалуй, даже порасспросил бы собеседника еще, но время визита истекло, и посетитель ушел со своим нерешенным вопросом, чтобы никогда больше уже не возникнуть. Другой посетитель по ходу, казалось бы, отвлеченного разговора, – речь шла о сельскохозяйственных делах, посетитель в прошлой жизни пробивал вопрос об издании книжки его очерков, – вдруг сказал жестко: «Дубина эта, манекен для побрякушек!...» – при этом взгляд его был направлен не на Зернова, а значительно выше – туда, где на стене висел портрет – Зернов и не глядя знал, что портрет висит, и знал чей. Тут уже Зернов просто испугался и просто-таки вытолкнул из себя: «Да что вы себе позволяете! Да вы...» Но посетитель только усмехнулся и сказал: «А вы что, боитесь, посадят? Не волнуйтесь, теперь уже не посадят, это у меня позади». Зернову очень хотелось сию же секунду выгнать посетителя из кабинета, но нельзя было: время не вышло, и они еще минут десять сидели друг против друга, работая губами, но ничего осмысленного более не сказав. О подобном безобразии, откровенно говоря, нелишне было бы и проинформировать; однако в той жизни этого разговора не было, а значит, и информации не было, и приходилось с этим мириться, внутренне одновременно кипия от негодования и содрогаясь от холодного страха. Этот посетитель определенно тоже знал нечто такое, что происходило в прошлом и Зернову было неведомо. Черт, – занервничал Зернов, – так ведь работать совсем невозможно будет, начнут меня осыпать такими вот заявлениями, а я совершенно не в курсе и оттого не понимаю, как держаться и что тут вообще можно предпринять. Нет, лучше бы, пожалуй, и вовсе не было второй памяти... Просто свинское положение: даже просто сходить в библиотеку, полистать подшивки нельзя – и потому, что не ходил я в той жизни в библиотеку, и потому, что газеты и журналы, в которых обо всем наверняка писалось, исчезли вместе с теми временами и теми событиями, и нигде ни клочка не сохранилось. Информационный туннель, о котором Сергеев толковал? Да существуют ли такие, и как до них добраться – кто же объяснит? Если это вообще возможно... К счастью, больше таких разговоров в тот день не состоялось, и можно оказалось доработать спокойно.

Правда, немного кольнуло его, когда Мила, младший редактор, незадолго до конца работы (а по-старому – вскоре после начала) встала, подошла к шкафу, вынула томик, новенький, свеженький, и с зерновского стола взяла второй точно такой же – и направилась к двери. «Мила, вы куда это? – окликнул ее Зернов, не допуская, чтобы редакционные экземпляры показывали кому-нибудь вне его кабинета, даже самому автору, еще не получившему своих договорных десяти экземпляров. – Куда понесли?» Мила, не оборачиваясь, ответила: «В производственный отдел, сдавать» – и вышла. Так Зернов впервые всерьез столкнулся с тем, что теперь в издательстве книги не выходили, как в той жизни – теперь они, напротив, одна за другой должны были сдаваться производственникам, когда приходил для этого день, свозиться из магазинов и складов в типографии, где с них снимали переплеты, разброшюровывали, расфальцовывали, сросшиеся сами собой листы пропускали через машины, где они свертывались в непрерывный рулон бумаги, позже увозившийся на фабрику или на станцию для погрузки в вагоны и отправки на бумажную фабрику; набор же в конце концов поступал в линотипы или другие наборные устройства и превращался в однородную металлическую массу – такая техника была тогда при Зернове, такой, понятное дело, оказалась и сейчас. Вот в чем заключалась теперь работа, и Зернову это даже понравилось невозможностью каких угодно недоразумений и неприятностей – кроме тех, конечно, какие состоялись в той жизни, но те можно было теперь считать как бы официально предусмотренными, и оттого не такими уж и неприятными – как горькое лекарство, например, которое полезно, в отличие от горькой же водки, которая, как известно, скорее вредна. Зернов уже начал понимать, что привыкнуть ко всему этому можно и жить можно, потому что главное в жизни и в работе – процесс, а возникает ли что-то в его результате или исчезает – не столь важно, если процесс отлажен и если он нужен – или принято

считать, что он нужен; это, по сути дела, одно и то же. Когда Зернов понял это, на душе стало вдруг солнечно и воздушно: оказалось непреложным, что все годы, проработанные им в издательстве в той жизни, он неизбежно проработает и сейчас и никакие силы этого не изменят. И это сознание наполнило его такой беззаботностью, какой он раньше в себе никогда не ощущал.

\* \* \*

В таком настроении вышел он на вечернюю, уже прохладную улицу, где стояли чистота и свежесть и заливались птицы. И ко всему этому тоже можно было легко привыкнуть к тому, что птицы поют по вечерам, а не по утрам, как раньше, и что вечерами бывает ясно и свежо, и чувствуешь себя бодрым и полным сил, а по утрам будет, наверное, наоборот, пыльно и суетливо, и станешь ощущать усталость, потому что перед работой придется еще побегать по магазинам, разнося покупки, которые для этого придется тащить с собой из дому. Но и это примелькается, войдет в обычай: ведь живут же так люди и, если верить Сергееву, не первый уже век живут...

\* \* \*

Возвращаясь домой, чтобы поужинать и лечь спать, Зернов подошел к киоску «Союзпечати», чтобы оставить там сегодняшнюю газету. Газету эту перед уходом с работы Зернов извлек из корзины для бумаг, просмотрел, кое-что даже прочитал, аккуратно сложил и сунул в карман пиджака. Сейчас Зернов, подойдя к киоску, положил ее на прилавок и на нее положил две копейки, а взамен получил пятак, который аккуратно водворил в кожаный, подковкой, кошелек. В той жизни Зернов всегда находил пару секунд, чтобы перемолвиться словечком со стариком киоскером, подрабатывавшим здесь к пенсии. Судя по тому, что Зернов застал его на месте, старик вернулся во вторую, нынешнюю жизнь раньше него, а теперь пенсионеру предстояло жить еще очень долго, чуть ли не до начала двадцатого века, до его десятых годов, и жизнь эта, как понимал всякий, хотя в объеме школы знакомый с историей, обещала быть интересной, хоть и достаточно беспокойной, и наполненной значительными событиями. Старик выглядел в точности как раньше, но это была их первая встреча после возвращения Зернова, и Зернов поздоровался с особенным удовольствием.

– Ну, вот вы и вернулись, – сказал старик. – Я искренне рад вас видеть. Пора и вам пожить спокойной жизнью, вкусить ее, как говорится, полной мерой. Еще не привыкли, надо полагать?

– Да вот, привыкаю, – сказал Зернов, стараясь, чтобы это прозвучало беззаботно. Однако не удержался, чтобы не пожаловаться тут же: – Очень много непонятного. Разум не вмещает...

– Что ж такого, – сказал старик. – Обратный ход времени, только и всего.

– Я не это имел в виду. Тут, надо полагать, происходили в прошлом, в теперешнем прошлом, – уточнил он, – какие-то значительные события, а я о них не информирован.

– Так это и неважно, – сказал старик. – Они прошли уже, миновали, канули, так сказать, в Лету – зачем же о них знать?

А и в самом деле зачем? – согласился про себя Зернов.

– Ну, знаете, любознательность – извечное качество человека. Вот и хочется знать.

– Вот как, – сказал старик. – Значит, вторую память сохраняете?

– Стараюсь, – сказал Зернов.

– Хлопотное дело, – сказал старик.

– Да, похоже. Но уж коли она не исчезает... Старик посмотрел на Зернова как-то чрезвычайно значительно.

– Что же, – сказал он. – К постижению прошлого путь один: через Сообщество.

– А что это такое?

– Сообщество обладателей обратной памяти.

– Кто же в него входит?

– Я, например, – сказал киоскер.

– Как же мне вступить туда? Я хотел бы.

– Туда не вступают, – сказал старик. – Туда принимают. Вы ждите. Вам скажет кто-нибудь. Я или кто-то другой из тех, с кем вы будете общаться в этой жизни.

– А если никто не скажет? – на всякий случай спросил Зернов, верный привычке уточнять все варианты.

– Значит, не примут. Бывает и так.

– Почему?

– Потому что...

Но время их разговора истекло – неумолимо, как в междугородном телефоне-автомате, если не подбросить монетку, и без предупреждения. И старик уже принимал от подошедшего человека газету и отдавал мелочь, шел сложный размен белых и желтых монеток, а Зернов сделал шаг назад и остановился. Можно было подумать, что он выжидает удобного времени, чтобы снова заговорить с киоскером, но Зернов уже ясно понимал, что такой возможности не будет, потому что миллиарды лет назад он не подходил к киоску дважды в день; он остановился просто потому, что сама теперешняя жизнь потребовала. Он сделал шаг назад, а перед ним остановился тот, кто прервал его разговор со стариком; еще через несколько секунд оба они почти одновременно шагнули назад, а впереди встал третий. Так Зернов отшагивал еще четыре раза, а потом повернулся и пошел домой; честно отстоял в очереди, и теперь ноги сами собой понесли его дальше, по направлению к остановке троллейбуса.

\* \* \*

Наталья Васильевна уже спала, в этой жизни она приходила с работы и ложилась спать раньше; так что поужинал Зернов, как обычно, в одиночестве: съел два яйца всмятку и выпил чашку крепкого кофе. После этого умылся, сделал зарядку, затем сразу почувствовал сонливость и лег.

Однако уснуть в эту ночь ему не удалось: слишком много впечатлений было, чтобы после них спокойно забыться. То есть тело исправно спало, храпело даже, время от времени поворачиваясь с боку на бок. Но мысль бодрствовала.

Зернов думал о жизни. И о жизни вообще, и в первую очередь – о своей собственной; не о той, что шла сейчас – о ней думать пока что было нечего, она только начиналась, – но о той, прошлой, которую теперь предстояло, если верить Сергееву (а все, что происходило сегодня, подтверждало вроде бы, что Сергеев был прав), прожить навыворот, от последних дней к первым. Жить, понимал Зернов, все равно придется, но когда предстоящее тебе в общих чертах известно (а в той жизни оно никогда не было и не могло быть известно так хорошо, как сейчас), есть смысл подумать о нем заранее для того, чтобы определить свою позицию в этой жизни, свое к ней отношение. Ну и что же, – убеждал себя Зернов, – что изменить в ней ничего нельзя будет; ведь к одним и тем же фактам и событиям можно относиться по-разному, можно принимать, признавая или даже радуясь, – и тогда все хорошо; но можно и внутренне отрицать, не соглашаться; событию от этого не жарко и не холодно, оно все равно произойдет, но вот для тебя самого большая разница: будешь ли ты жить с удовольствием или же самоотравляться неприятием порядка вещей, от тебя нимало не зависящего. Самая элементарная логика подсказывала, что принимать и одобрять для самого тебя куда как выигрышнее, чем отрицать или хотя бы порицать. Но в жизни – Зернов это твердо знал из всего прошлого опыта – надо прежде всего быть последовательным: стал на позицию – так уж и стой на ней; если позиция перемещается – мигрируй вместе с ней, если сохраняет устойчивость – пребывай в неподвижности, но

ни в коем случае не суетись, не прыгай с кочки на кочку, с позиции на позицию: старых сотоварищей утратишь, а новых скорее всего не обретишь и везде будешь находиться как бы под подозрением: один раз переметнулся – значит, и второй раз сможешь, и третий... А чтобы так и остаться на единожды выбранной позиции, надо было – теперь такая возможность появилась, и это было прекрасно – заранее приглядеться к предстоящему пути: а нет ли в нем каких-то не сразу заметных ловушек, колдобин, скользких мест и всего такого прочего. Потому что если ты выбрал путь, а потом оказывается, что в середине или даже в конце его тебе вдруг набьют морду, – то, значит, выбор был ошибочным с самого начала.

Практически для Зернова это означало необходимость как можно тщательней припомнить все, что происходило с ним в прошлой жизни, этап за этапом, год за годом, потому что только этому и предстояло повториться; придумывать ничего не нужно было, ни гипотез строить – только вспоминать. На память свою он никогда не жаловался, да и автобиографий своих в той жизни написал немало и каждую последующую тщательно переписывал с черновика предыдущей, дополняя только тем, что успело в его жизни произойти после подачи этой предыдущей; вновь написанная, в свою очередь, становилась исходным материалом для той, которую только еще придется когда-нибудь писать. Тут тоже не было ничего хуже помарок и разночтений, биография – не сборная конструкция, где одну деталь можно вынуть и заменить другой, биография – непрерывно растущий кристалл, и кристалл этот должен быть алмазным: чтобы ничем и никто не мог бы поцарапать, повредить гладкую поверхность, как бы ни старался. Зато жизнь, уложенная в строчки биографии, была у Зернова всегда в памяти, он и внезапно разбуженный смог бы процитировать ее с любого слова, с какой угодно даты. Значит, вспоминать и отыскивать сомнительные места было вовсе не трудным делом.

Вот теперь, в бессонницу, он и вспоминал ту свою первую жизнь, когда время текло нормально; вспоминал, внутренним зрением ясно видя страницы автобиографии, написанной его собственным аккуратным почерком (их, как известно, не пишут на машинке), и не находил в ней ничего такого, чего следовало бы стыдиться, о чем сожалеть, не говоря уже о том, чтобы – опасаться. Все в жизни делалось правильно, в духе времени, жил он целеустремленно и целесообразно и даже, в общем, порядочно. Даже если спрашивать по самому большому спросу, по самому строгому кодексу, даже если анализировать и то, что в текст автобиографии не включалось, потому что не принято и не нужно было включать (где нужно, полагал Зернов, и так все знали, но и там понимали, что не всякий факт годится для биографии, ей нужны стены, а не всякого рода архитектурные излишества), – даже если анализировать и такие явления, то никаких порочащих его фактов там не имелось, ничего подсудного какому-нибудь моральному трибуналу. Мест, за которые можно было как-то ненароком зацепиться, было, по его прикидкам, три: отношения с Адой, история с автором и выступление против старого директора. Ну хорошо, рассмотрим каждый факт с самой строгой, пуританской, ригористской точки зрения, – размышлял он. – Отношения с Адой. Да, конечно, по букве морального кодекса это было проступком: связь с другой женщиной, супружеская измена, то есть, на первый взгляд, убедительный признак морального – если не разложения, то неустойчивости, пусть и в самой начальной еще фазе. Но так ли на самом деле? Нет, – категорически не согласился он. – На самом деле все было не так. Никакой безответственности, никакого легкомыслия. Все дело в том, что он умер – умер как раз тогда, когда пришла пора их отношениям переходить в следующую, уже вовсе не предосудительную стадию. С Натальей у них давно уже не очень ладилось, отношения как-то перестали, или почти перестали быть супружескими, и случилось это не из-за Ады, но как-то само по себе; можно ли в таком случае упрекать его в том, что он искал и нашел такого человека, с которым ему хотелось пройти всю еще предстоявшую часть жизни, и человек этот был на то готов и согласен? Нет, упрекнуть его нельзя было, разве что в том, что эта предстоявшая часть жизни так и не состоялась; но он же не самоубийством покончил, тут медицина



сплоховала, нынешний ее уровень подвел; вот с нее пусть и спрашивают те, у кого язык так и зудит спрашивать да спрашивать, навешивать ярлыки и давать оценки. С медицины!

Возьмем теперь второе, – продолжал Зернов. – Историю с этим пресловутым автором. Ну, это дело обыденное, в такой работе, как его, без таких вещей не обходится. Есть (были, во всяком случае, – вспомнил он сегодняшний разговор с упоминанием странных, по меньшей мере, людей в качестве авторов, когда-то якобы признанных издательством – а значит, прежде всего властью, потому что только ее прерогатива – решать такие вопросы), есть ясные и строгие правила, что можно и чего нельзя. Например, правила дорожного движения: ехать на красный свет запрещено. Запрещено – и все. Никаких оправданий, никаких исключений – разве что для «скорой помощи» и милицейских машин; но издательство – ни то и ни другое, оно, скажем так, автобус, не более того. Поехал на красный – получай штраф, прокол или вовсе отдай права, на срок или пожизненно. Автоинспектор, перехватив такого ездока на красный и соответственно покарвав, всего лишь выполнит свой долг и обязанность. Разве его дело – входить в психологию нарушителя и размышлять о том, как же поведет себя лишенный водительских прав человек: пойдет ли в слесаря, или в ученики по другой профессии, или запьет, или даже руки на себя наложит? – не его инспекторское дело, нет, не его. Вот, допустим, справедливо лишенный прав водитель, вопреки доводам разума, взял да напился до белых слонов и во хмелю повесился – что же, с инспектора за это спрашивать? Любой нормальный человек скажет: да он-то тут при чем? Тогда кто же виноват? Да никто, кроме самого водителя. Ему что, приказали ехать на красный? Нет. Его принуждали пить вместо того, скажем, чтобы пойти слесарить? Опять-таки нет. У него в жизни оставалось еще множество путей, и не кто-нибудь, а сам он выбрал тот единственный, который вел не по жизни, а – из нее. Вот и в рукописи этой, – рассуждал дальше Зернов, – горел красный свет, да такой яркий, что даже слепой увидел бы, а увидев – принял бы соответствующие меры; он же, Зернов, слепым не был. Человек должен выполнить свой долг, а за результаты он не отвечает, поскольку нормы этого долга не он устанавливал. Так рассуждал Зернов, напутствуя себя самого в новую жизнь.

Ну и третье наконец: история со старым директором. Можно ли было ее истолковать как-то для Зернова невыгодно? Да нет же, конечно нет! Да, он выступил против, выступил резко, чего от него, откровенно говоря, не ждали. А почему, собственно, не ждали? Потому, что раньше он о директоре отзывался только хорошо и даже очень хорошо, и в глаза, и за глаза, и поддерживал и всячески одобрял его, так сказать, общую программу и отдельные мероприятия? Да, отзывался, а теперь вот взял и выступил плохо. Но пусть докажут, что необоснованно! Нет, Зернов всегда выступал обоснованно и убедительно. А главное – он и в этот раз сохранил верность своим принципам и не изменил занятой раз и навсегда позиции; просто позиция эта несколько сместилась – ну, естественно, и он вместе с нею. Почему сместилась позиция? Ну, допустим, в верхах возникло мнение, потому что директор как-то в разговоре с курирующими товарищами позволил себе бестактное высказывание относительно понимания ими литературного процесса, а это не его дело было – судить, что и как они понимают или не понимают: за это ответственны те, кто им такое дело поручал, а директор за их понимание не отвечал, он за свое был в ответе, вот и свалил дурака. Вследствие этого мнения наверху изменились, и с неизбежностью сместилась позиция – вместе со всеми, кто ее занимал. Ты ведь не сам изобретаешь позицию, – говорил себе Зернов этой ночью, – это не твоего ума и уровня дело; позицию создают другие, высшие, а тебе ее предлагают, предлагают в готовом виде, и ты волен принимать ее или не принимать – и только за это свое решение ты и несешь ответственность, ни за что иное. Итак, позиция сместилась, и ты ясно почувствовал и понял, чего нынешнее местоположение этой позиции от тебя требовало. Нет, никто ничего не поручал, был просто разговор в очень узком кругу, где ему, Зернову, ни слова конкретного не сказали, а просто была высказана мысль, что хорошо, если бы выступил кто-то из людей издательства, достаточно авторитетных, и дал бы деятельности директора принципиальную оценку; опять-таки не говорилось,

что надо его разносить в пух и прах, на такое Зернов никогда бы не пошел, он не марионетка, в конце концов, но всегда оставался человеком, самостоятельно мыслящим. А вот дать принципиальную оценку – это как раз то, что он мог принять на себя. Но и тут он не стал вылезать вперед и кричать: «Я! Я!» – ни в коем случае; просто высказал уверенность, что такие люди в издательстве есть, коллектив в общем, несмотря на ошибки директора, сохранил работоспособность и моральное здоровье. Ему улыбнулись доброжелательно, сказали, что всегда были уверены, что есть в этом коллективе на кого опереться, – и все, и разговор пошел на другую тему. Ну, а перед собранием его даже не спросили, будет ли он выступать, но лишь уточнили: тебе бы лучше одним из первых высказаться, чтобы прения пошли по правильному руслу. Это свидетельствовало о том, что твердость его позиции была ясна заранее, и тут уж никак нельзя было разочаровывать тех, кто ему верил. Естественно, он выступил. В чем же можно было тут его обвинить? Диалектика учит: старое отмирает, а поддерживать то, что отмирает, – дело бесполезное, все равно оно обречено; но не является же понимание законов диалектики и применение их на практике чем-то таким, в чем человека можно обвинять! Нет, разумеется, не является. И ясно, что осуждать Зернова за сделанное не имел права никто – а сам он менее всех других; да он и не судил никогда. Так было тогда – значит, и теперь бояться нечего.

Нет, если подумать спокойно и трезво, отбросив неизбежный вначале призыв необычайности, сенсационности, то в этой второй жизни многое было устроено куда разумнее, чем в прошлой. Хотя бы то, что жизнь ведь теперь пойдет к молодости, к расцвету, обилию сил, надежд, мечтаний...

Тут он на мгновение запнулся. С какой стороны ни посмотри, ни для надежд, ни для желаний в новой жизни места вроде бы не оставалось. И надежды, и желания человека обусловлены прежде всего незнанием предстоящего, а также существованием каких-то возможностей влиять на будущее, предпочитать одно другому – делать выбор. А в теперешней жизни все было известно и предусмотрено заранее, следовательно, и выбора никакого не существовало, и ни малейшего влияния на будущее быть не могло. Сперва это немного озадачило Зернова, но, поразмыслив, он решил, что такую цену, в общем, стоило заплатить за ощущение полной уверенности во всем предстоящем. Надо полагать, пройдет немного времени – и ему покажется уже странным, без малого невероятным, как могли люди существовать в той, прежней жизни, когда неизвестно было, что принесет завтрашний день, а о послезавтрашнем и вовсе нельзя было думать серьезно. Нет, вторая жизнь была куда более основательной, надежной, определенной. И иметь хоть что-нибудь против такого порядка вещей мог бы лишь человек с неустойчивой психикой, сам не знающий, что ему нужно и чего он хочет. Так что – будем жить, и прекрасно будем жить!

Так размышлял Зернов, пока его тело спало, и все казалось ему ясным, понятным, превосходным. Очень славно чувствовал он себя, когда мысли его наконец утихомирились на какой-то час, а потом тело медленно проснулось и начало не спеша вставать, начиная новый день.

\* \* \*

В ту ночь и Сергееву не спалось, и, хотя это может показаться странным, думал он почти точно о том же, о чем и Зернов во время своей бессонницы: именно о Зернове и о его прошлой и, значит, теперь предстоящей жизни. Думал он о том же – но не то же самое, что думал Зернов, а чаще совсем другое, едва ли не противоположное. Потому что автобиографий, писанных Зерновым, Сергеев никогда не читал, это не входило в его компетенцию, не ему эти сочинения адресовались, да и не интересовали его никогда. И если то, что знал о себе Зернов, служило для подкрепления и оправдания всего, что излагал он в своих жизнеописаниях, то есть входило в некую единую систему, которую можно было бы назвать «Житие Зернова», то есть Зернов

в своих размышлениях шел от общего к частному, от заранее оцененной жизни – к ее деталям, которые обязаны были в эту априорную оценку укладываться, Сергеев же начинал именно с частных, с отдельных поступков, чтобы лишь потом, разобравшись в них, сделать обобщение и представить себе Зернова целиком, в полном по возможности пространственно-временном объеме. То есть Зернов шел от позиции к оценке, Сергеев, напротив, от оценки – к позиции. И в оценках, и в позициях их многое не совпадало, не совмещалось, но, наоборот, противоречило одно другому.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.